

Река времён в своём стремлении  
Уносит все дела людей,  
И топит в пропасти забвения  
Народы, царства и царей.  
Г. Р. Державин

### **Чадо Господнее – рядович\* Отечества**

Долгие месяцы прошедшей зимы маялся над тем, стоит ли написать про Екима Панфилова сына Аксёнова? Днём, чем бы я ни занимался, он рядом: одобрительно кивает, подбадривает, осуждает за нерешительность.

Ночью, во сне, берёт меня за руку и ведёт на левый берег Оби. Идём по заснеженной Береговой улице, мимо дома семейщика\* из города Томска казака Алексея Колычева. Поворачиваем налево, обходим усадьбу годовальщика\*, государственного крестьянина Дмитрия Тюменцева. Останавливаемся возле завалюшки. Мой провожатый просит:

– Остановись, Алексеич! Постоим. Эта завалюшка – наша изба с моим другом

Лаврушкой Красиловым, тоже годовальщиком, была нашим пристанищем с весны семьсот третьего до следующей весны. В то далёкое время Кривощёковское поселёе являлось сторожевой слободой. Здесь мы тянули лямку, постоянно совершая походы вверх по Оби, на речки Ирмень, Чик. Ходили в Барабинскую степь. Во время приближения вражеской орды, мы давали знать поселщикам деревни Анисимовой, они передавали в Умревинский острог, дальше в Уртамский. И через день Томский град знал: необходимо быть начеку, возможна сполоха...

Наступает следующая ночь и незванный гость снова поднимает меня с постели. Мы садимся на пегих жеребцов и галопом мчимся по Барабинскому тракту, но не в степь, а в город Томск. Мы останавливаемся на Юрточной горе. По правой стороне поднимается ввысь шатровая башня колокольни Христорожественского женского монастыря, рядом Юрточная гора и на ней разбросал под частоколом десятки келий мужской Алексеевский монастырь, а узкая, пыльная, кривая улочка огибает

церковь Благовещение пресвятой Богородицы и уходит на берег реки Ушайки. На берегу стоят одинаковые три хоромины; на крышах по конькам лежат брёвна, корневища которых обработаны на мотив летящих лебедей.

Еким Панфилович тихим голосом говорит:

– Здесь прошла моя молодость. С детства я просыпался от колокольного звона и мы, три семьи из этих теремов, шли на утреню. Моя семья во главе с конным казаклом Панфилом Панфиловичем, матушкой Екатериной Семёновной, следом я и братик Никита. Чуть подалее шла семья стрельца Алексея Петрова сына Колычева с женой Пелагеей Прохоровной, с дедом Петром Михайловичем с сыном Иваном и дочкой, красавицей Аннушкой. За ними неторопливо шла семья государственного крестьянина Юрия Михайлова сын Красилова. Он сам, приятной наружности, жена его Матрена Семёновна и три их сына: Никифор, Семён, Лавр.

Я любил всё вокруг, пребывал в радости, благодарил Создателя, что он наделил меня великим счастьем: видеть, общаться, жить на маленьком пятачке у подножия Воскресенской горы и с младенческих лет чётко исполнять все заповеди Господа Бога, которые с любовью внушали мне отец и мать...

Вообще, мой дед по отцу служил стрельцом в Туринском остроге. Моего отца Панфила, по указу Петра, верстали\* в пешие казаки и перевели в Томск.

– Еким Панфилович, позвольте вас спросить, откуда вы прибыли? Из Кривощёвской слободы? Из города Томска?

– По нынешним понятиям я прибыл из погоста Черепановского района, деревни Бочкарёвой. А когда умер в тысяча семьсот девяносто четвёртом году, я в «донесении» значился крестьянином Бийского уезда, Боровлянской волости, деревни Бочкарёвой. Алексеич, на небесах, в одиночестве, раздумывая о своём грешном житии, многократно сомневался, стоит ли проявлять настырность, просить тебя, чтобы ты записал, сшил в колобок мою судьбу, судьбы близких. Пришёл к выводу, что стоит. Прости, что нагрузил тебя душевной тяжелиной неимоверного веса. Риски! Посуди сам, найдётся ли кто из смертных, чтобы потратить пять лет жизни на сбор материалов, документов не о «секретаре...» или «президенте...», а о простом смертном.

Да и, Алексеич, мы с тобой не родственники! И вообще, за три столетия мои коренные и их потомки не роднились с твоими... Торопись! Ну пролежат документы, собранные тобою в сундуках и шкафах... А умрёшь? Возможно, всё пойдёт прахом.

– Желаете заставить меня писать про вас? А не скажут ли обыватели, что я под старость перепутал, где историческая правда, а где вымысел? Мыслимо ли в Сибири, да ещё в восемнадцатом веке, человеку прожить сто двадцать четыре года? А лекарей ведь на всю Западную Сибирь поштучно: один в Кузнецком уездном воеводстве, другой в Канцелярии Колывано-Воскресенских заводов!

– В том и нужность твоей писанины. Раскрой мою грешную жизнь. Покажи, как это мне, петровскому солдату, демидовскому мастеровому, родителю десятка детишек, Господь Бог даровал заложить два сада в Сибири и с радостью прожить свой век в сто двадцать четыре года. Алексеич, в чём секрет моего долголетия?

---

\*Рядович – одного с кем рода или народа, земляк.

\* Годовальщик – переогодававший где-либо вне своего дома, на чужбине, на ямщицком стане, в сторожевой слободе, на промысле.

\* Семейщик – служилый с семьёй, переселённый на год, на два, на строительство ямщицкого стана, в форпост, в сторожевую слободу.

\*Верстали – уравнивать, променивать одно на другое.

## Глава первая

– Почнём же, Алексеич. Дадим слово: не будем лукавить.

– С чего начнём, уважаемый служака, Еким Панфилович? – Я придвинул к нему кресло. – Прошу, садитесь. Твоё облачение солдата Преображенского полка, седина и морщины по всему лику, рост два аршина восемь вершков не позволяют мне относиться без должного почтения. Хотя, ты не малое время проявлял свойственную черту петровского солдата – упрямство. Думаю, в молодости тебя не раз наказывали за настырность.

–Ты не прав, Алексеич. В наше время кто проявлял настойчивость и упёрность, поощряли. Да, меня наказывали, но за другие провинности. Однажды Пётр Великий бил меня слоновым набалдашником. И вот за что.

В токарной мастерской я выразил сомнения в его вере в Создателя. Перед тем как начать вытачивать ножку для стула, предложил ему молитвословить и крест на себя возложить. Больше не предлагал... Тебе предлагаю: давай, чадо господнее, перед началом дела помолимся, как делали наши предки несколько столетий... После поплывём по воле Господней по реке моей жизни и моих близких. Аминь.

– Повторяю вопрос: с чего начнём, Еким Панфилович?

– Желательно с того, как я оказался

любовником\* и меня провожали из Сибири в Россию...

— А детство? У меня копия документа, где сказано, что девятого сентября тысяча шестисот семидесятого года у Томского служилого Панфила Аксёнова родился сын Иоаким. У читателя возникнет недоумение, тебя побрили в солдаты в тридцатилетнем возрасте. И ещё. Тогда должны были неукоснительно выполнять именной указ Петра: наполнить Сибирь хлебопашцами и служилыми, дабы не возить хлеб из России, осваивать новые земли, создать оборонительные укрепления по рекам Оби и Иртышу. В нарушение указа тебя везут на запад. Видно, ты изрядно надоел своими шалостями годовальщикам и семейщикам Кривошековой сторожевой слободы...

— В те времена не обращали внимания, сколько лет призываемому. Воеводская комиссия старалась увидеть, нет ли изъяна на теле и в душе будущего солдата. А я был тогда высок, строен и силы недюжинной, чугунную пудовку мог, на спор, перебросить через амбар. Это потом, под старость, я потерял вершок своего роста.

— Да и сейчас ты смотришься браво. Спрашиваю: почему писарь Томской воеводской канцелярии вычеркнул из списка Лаврентия Юрьевича Красилова, а тебя мелким почерком вписал?

— Вот тут и начинается первый год моего великого счастья. Любовником должны были уйти мои друзья Лаврушка Красилов и Ваньша Колычев. Их годовая служба в сторожевой слободе закончилась. Меня отпустили в Томск, чтобы я передал их вербовщикам и привёз в слободу новых служилых.

За два дня до отправки их в Тобольск, вечером, приходит в наш дом сестра Ваньши Колычева Анна и вызывает меня во двор. Наша семья дважды отправляла сватов к ним. Души не чаял я от Анны. Они сватов не принимали. Отвечали: «Екимка стар для нашей Аннушки».

— Сам, Алексеич, видишь по документу. Мне тогда действительно перевалило за тридцать, а Аннушке только восемнадцать.

Вышел во двор и грубо спрашиваю:

«Чё тебе надо, зазнайка?»

Она в растрёпанных чувствах говорит:

«Еким, я люблю Лаврушку. Я без него и неделю не проживу...»

Я перебил её:

«А чем я плох? Почему меня отвергла?»

Глаза её прослезилась.

«Душа моя к нему прилепилась...»

Сердце только от него в радости...»

Я остановил её:

«Ну и люби. Переживи. В посаде девиц недостаток, за острогом найду. На крайний конец и старуху засватаю».

Повернулся от неё и направился в дом. Слышу она говорит:

«Не любил и не любишь ты меня. В отместку другу посылал сватов. Зачем хвалился, что Лаврушка тебе друг? Как только второй раз твоих сватов спровадили, и начал против него шашни\* устраивать...».

Я закричал:

«Что плетёшь? В нашей семье никто и никогда плутовскими происками не занимался. Его записали в любовики по решению Томского воеводы. От трёх братьев — один. А у меня только один братик — Никитка. Лаврушка хоть и на десяток лет младше меня, на века вечные останется моим настоящим другом».

Она, красавица, хныкая, говорит:

«Докажи, что твоя дружба настоящая».

«Всегда готов», — отвечаю.

И вижу, её алые губки приблизились ко мне, а из ротика полились слова:

«Екимушка, решишь, да вместо Лаврушки запишишь в любовики...»

«Э, нет, — возмутился я. — Чего-чего, но только не это. По собственному желанию отдать себя на вечную каторгу, в солдатчину! Шалишь, Аннушка! Я лучше подожду, когда Лавр уйдёт, уедет тогда посылать буду каждую неделю сватов в ваш дом. Не устоите... А кто другой надумает посягнуть на тебя, отважу. Одних побью, других застращаю, на третьих Божью кару призову...»

Она с возмущением крикнула:

«Какой же ты, Екимка, сумасбродный!»

Я совершил земной поклон и юродству ответил:

«Каким родили, таким смастерили».

Направился в дом. Она схватила меня за кафтан. Слезы у неё побежали ручьём.

«Екимка, — заголосила она, — тебе не жалко, что нашу жизнь с Лаврушкой своим несогласием разбиваешь?»

Моё сердце сжалось, ком приступил к горлу, но я вырвал подол кафтана и закричал:

«Не жалко! Ты меня отвергла! Ты не посчиталась с моим желанием! Женой моей не пожелала быть. Женонька признал меня правым. Тебя, отказница, наказал. Не отвлекай меня от дел».

Я пошёл. Она догнала меня. Пала на колени. В слезах, рыдая, гундосила:

«Екимушка, рожу дочь, вторую... Вернёшься из войнишки, отдам тебе в жёны какую пожелаешь... Клянусь. Целую крест.»

И давай лобызать нательник. Я поднял её с колен.

«Ты что, Анна, от любви к Лаврушке

рассудок потеряла? О какой дочери ты говоришь? Мою бдительность заговариваешь. Когда спровадили из твоего дома моих сватов, в след говорили, что я слишком стар для тебя. А если я останусь живым, отслужив двадцать пять лет, вернусь, представляешь, каким я древним стариком буду? У Лаврушки ещё два брата. Родителям его есть от кого под старость получать внимание. А мои? Вдруг да то-то с Никиткой случится, по миру пойдут. Ты этого хочешь?»

Анна приложила руку к сердцу. Вижу, слёзы каплют на голубую блузку. Шепчет:

«Еким, даю слово, родители ни в чём нужды, притеснения не ощутят».

Смотрю на неё. Личико такое милое, желанное. И не я, а кто-то моим голосом произнёс:

«Ладно, Анна, пойду вместо Лаврушки в солдаты. Но только ты имей в виду: обмана не должно быть. Дочек своих не выдавай в замужество, пока я не вернусь. Какая больше на тебя похожа, ту и возьму. И Лаврушку приготовь, чтобы не артачился, за старика урода красавицу дочь выдавать».

Анна вытерла глаза платком, чуть улыбнулась и сердечно-сердечно проговорила:

«Ты, Екимушка, там, в солдатах, оберегай себя».

Родители мои и братик чуть ли не до проклятия ругали меня. И Анне досталось. Родственники мои пустили по городу слух, что она меня заговорила. Возможно и так. Не отрицаю. Уж очень красивые голубые глаза смотрели на меня и плакали, а губки – лепестки огоньков – просьбу произносили. И коса – повязанный сноп золотого льна – уверяла, что дочки у Анны вырастут такими красивыми, и одна из них порадует меня.

Перед моей отправкой в Россию состоялся у нас уговор с Анной: как родит она дочь и та начнёт лепетать, первыми словами её должны быть «любовник Екимка». Но если она косая, кривобокая, хромяя, неразумная, – я от неё отрекаюсь. Алексеич, проважали меня и смеялись. Дураком обзывали. Я ведь договор с родителями Лаврушки не заключал. Плату с них брать отказался. Как можно? Лавр – мой друг. Некоторые горожане гордость высказывали: дружба превыше всего.

Через два дня я взял шкарб\*, что приготовили Лаврушке на дорогу, лошадку, вместе с Ивашкой Колычевым и с другими отправился в Тобольск.

Любовник – рекрут или годник, идущий в ставку, в солдаты.

Шашни – плутовские происки, интриги, проделки.

Пудовка – гиря в 16 кг.

Шкарб – пожитки.

## Глава вторая

В городе Таре нас влили в отряд лобовика Ивана Шумова. Он оправдывал своё прозвание\*. Голос имел громкий, угрожающий, а вид разбойника. Весь обросший, и из копны волос сверкали серые волчьи глаза. Ростом он уступал мне и Колычеву, но силу имел недюжинную. Когда появлялась ссора между новобранцами, унтер-офицер кричал:

«Десятник Шумов, разберись!»

Перед его взглядом робели забияки, неуверенно вели себя офицеры младших чанов. За месячное путешествие до Тобольска, когда мы ежедневно проходили по двадцать–двадцать пять верст Шумов раскрылся душевным человеком, добрым по поступкам, верным товарищем. Не мы с Колычевым, а он, Шумов, проявил желание иметь нас своими друзьями. Мы не возражали. Набивая на ногах мозоли до волдырей, изнашивая сапоги до дыр, вот где поняли, насколько велика наша матушка Сибирь. А красота, а угрюмость людей!

Добрели до Тобольска. Там, в солдатской казарме отдохнули, перемылись, лошадей подкормили и дальше. Я с Ванькой Колычевым и Иваном Шумовым оказались в команде драгуна вербовщика Николая Бутырева. Он сам из Вологды. Первое время служил в Вологодском полку. Его перебросили в Преображенский полк. В Тобольске оказался для пополнения новобранцев.

Город Санкт-Петербург – сплошная стройка. Не по душе мне низкое серое небо. Оно тяжелым покрывалом придавливало меня к земле. Сплошь трясины, заросшая осокой. Тучи, как у нас в Сибири. Полчища комаров. Утром и вечером туман, туман.

Ведатель человеческих сердец осчастливил меня и моих друзей. Я возлюбил душой и разумом Иванов и Николая. Все свободное время посвящал им. Предупреждал об опасности, предостерегал от ошибок.

<...>

Год от года стан мой крепчал, мужал, набирал солдатской сноровки.

Привыкнув дома безропотно подчиняться воле отца, я и в полку, по первому приказанию стремился выполнить волю моих командиров. Я любил, когда раздавался звонкий, боевой, протяжный звон горна, барабанный призыв. С первых дней службы полюбил телесные утехи с пищалями и алебардами. Много, много часов

подряд, не утомляясь, готовил себя быть хорошим солдатом.

<...>

После одного из боёв получил весточку от друга Лаврушки. Порадовал. Аннушка родила дочь. Нарекли её именем Степанида. И писал Лавр:

«А красавица – краше Аннушки. Уже не аукает, а лепечет. И произносит два слова: «лобовик» «Екимка». Этому я Степаниду не учил. Учит Аннушка. Я как-то зателю ссору. Анна отчитала меня: «Друг пошел на бойню ради нас. Мы должны помнить его жертвенность и детей учить, чтобы они знали: рождение их от отца и матери от поступка Екима. Не согласись Еким вместо тебя пойти в солдатчину разве родилась бы у нас Степанида».

Прошло два года.

В последнем бою меня малость царапнуло. Приказали полежать в лазарете, пока раны не затянет. Лежу. Зубоскалю. Приходит Колычев и возвещает:

«Из Сосновского острога прибыли два новобранца. Они передали: твои родители живы. Брат Никита ходил со служилыми в Кузнецкий острог. Вернулся целехонький. Сестра моя Анна родила вторую дочь. Фёклой окрестили...»

Меня приподняло. Порадовался. Что случиться с первой Степанидой, Фёклу в жёны возьму. Вырастут обе – выбирать есть из кого. Иван дальше делится новостями. Анна велела передать, что Степанида по утрам молитву произносит и здравия желает лобовику Екиму. Когда играет с детишками и если кто её обидит, сквозь слезы причитает: «Придет мой лобовик Еким, он вас всех накажет».

– Подожди, Алексеич. Повремени с вопросами. Я сию минуту вспомнил семьсот девятый год. Иду я как-то по Преображенской слободе и вижу: у караульной избы побритые, ещё не в мундирах новобранцы. Смешно смотреть. Лето наступило, а они кто в зипунах, кто в телогреях. А на некоторых даже полушубки. Большинство светлолицие, длиннолицые. Один в чистом кафтане скуласт, черняв, высок, не ниже меня ростом, но коренастей. Бросил он взгляд на меня, широко улыбнулся и двинулся в мою сторону. Останавливается впритык от меня, так, что между нами Евангелие не просунут. Смотрит мне в глаза и заразительно смеётся. Говорит:

«Ты, Еким, сын Панфила, был у нас в Сосновском остроге с дружиной десять лет назад. В нашем доме гостевал. А мать моя Каздоя тебе подарила кольцо, отлитое моим дедом».

Я всё вспомнил. Обнял лобовика и говорю:

«Семен Безменов, так кажется тебя зовут?!»

«Верно», – отвечает.

Я ни к селу, ни к заимке ляпнул:

«Кто начнёт приставать, обижать, скажи: ты земляк Екима косоглазого...»

Алексеич, ты видишь меня, я не косоглазый. Это пуля прошла мимо левого виска, царапнула. Лекарь кожу зашил. Этот шрамчик чуть прикрывает уголок левого глаза. От этого изьяна некоторые и кликали меня косоглазым. А вот моя суженая ни разу в жизни не намекнула.

На мои слова Семён ещё больше расхохотался, да так, что вижу, у него слеза полилась. И произносит через смех:

«Дядька Еким, у вас не найдётся молодец, способный на меня даже в пьяном виде нахмуриться. Я коренной кузнец и по отцу и по матери».

«Как же ты в лобовиках оказался?» – спросил его и потянул в караульную.

Он в помещении рассказал, что Именным указом от третьего октября семьсот восьмого года князь Гагарину велено было собрать в Верхотурье, Туринске, Тюмени, Пельиме, Тобольске, Томске служилых и посадских крестьян восемь тысяч рекрутов. На основе этого Указа по Грамоте Сибирского приказа от двадцать девятого марта семьсот девятого года стольник Бибикив и дяк Шокуров собрали пять тысяч девятьсот человек.

С ними отправился и Семён Безменов. До нас он побывал в Москве. А вот сегодня пригнали в Преображенскую слободу. И со смехом поведал он истину, почему он оказался среди «будущих» солдат. Отец его Игнатий узнал от кого-то, что у государя солдат хорошо кормят и за службу жалование дают. И велел отцу Семёну нести службу добропорядочно, чтобы домой вернуться, имея в кисте не менее пятидесяти рублей серебром. И пострадал отец, что если Сёмка не выполнит завет, вернётся гол, с одним ранцем, то принародно будет сечь его сыромятным ремнём. Смеялась вся караульная.

Ещё прошло два года.

Говорят мне, что в кузнице спрашивал меня земляк. Я поспешил в кузню. Едва вошёл, на меня набросился мужик. Лицо в радости, улыбка во весь рот. И кричит:

«Екимка, это я, Сёма. Здравия желаю, землячок».

Он отбросил молоток. Обтёр руки ветошью. Повёл меня в опочивальню. Рядом с кузней пристройка стояла для отдыха кузнецов. Я в недоумении спрашиваю:

«Семён, ты же должен быть солдатом? А как кузнец?»

«На кой чёрт мне нужна солдатская служба, – отвечает он, – погонят в бой, убить могут. А кому денежки мои достаются? Я в первый же месяц разузнал что



почём и в крик: «Не хочу быть солдатом, хочу быть кузнецом!». Меня били, в карцер бросали. Потом спрашивали: «Кем желаешь быть?» Я им отвечал: «Кузнецом!» «Почему? — спрашивали. Ты трус? Рукопашной боишься? Так мы научим!» «Ничего я не боюсь, — отвечал им, — Отец мне приказал вернуться домой с полной кисой серебра, а у вас у кузнеца жалование больше, чем солдата». Меня опять били. Надоело командиру. Приказал: «Уберите идиота с глаз моих! Передайте в кузницы».

Увели меня в верфь. Поставили ковать штыри, скобы. Мне это любо. Заставят кольцо сковать, я готов. Прикажут лапу — в два счёта.. смотрят — для меня нет невозможного. Землячок, милый, за работу мне хорошо платят, не обманывают».

<...>

Шведы наградили меня двумя пулями. Лекарь одну вырезал, а вторую оставил. Я его прошу:

«Вырежи. Чешется».

Он смеётся: «На память оставляю. Под старость будешь на лавке сидеть и пулю возле пупка катать. Забава».

Земляки привезли письмо и подарок. Аннушка родила третью дочь. Окрестили её именем Татьяна. Порадовали: Степанида уже пряжу вьет, учится лобовику носки вязать. Между Степанидой и Фёклой идёт ежедневная перебранка. Фёкла ревнует Степаниду к солдату, спрашивает: почему у Стеши лобовик Екимка есть, а у неё нет? Кусается.

На третьей седмице по Пасхе иду по Летнему саду с намерением выяснить, кто в час ночи вблизи опочивальни государя разговаривал и его разбудил. Чутко спал государь. Мне навстречу Безменов идёт. Лицо сияет, красный кафтан новенький, на кушаке подвязана сума. Кричит, расстроив птах: «Екимка, землячок! Ты всё в достражниках служишь? Не завидую!» — Обнимает, с восторгом хвалится: «Пока не встречались, я в суму шесть рублей положил. Если так пойдёт, волю отца выполню».

Я порадовался за Семёна. Спрашиваю: «Как в Летнем саду появился? Ты же кузнец, а нам в Летнем саду кузнецов не нужно. Ограда, ворота, всё в порядке».

«Екимка, в небо смотри. Кто-то кому-то передал, что Сёмка-кузнец имеет башку не большую, но набитую горной и кузнецкой инженерией. Говорят, будто я — сын иностранца. Приехал в кузню его сиятельство с прозвищем де Геннин, смотрел мою работу. Нарисовал на бумаге шахту с двумя штольнями и спрашивает: «Где рубить выходные окна от одной к другой, чтобы затору гнилого воздуху не было?» Я у него спрашиваю: «Какую руду добыва-

ем: железную, медную, свинцовую, а може горящий уголь?» он вытянул лицо и отвечает: «Свинцовую». Что тут думать? Я ему, как сокол с неба, отвечаю: «Шахту и там и в другом месте надо рубить. По ширине в двойном размере. И немедля поставить отдувную печь для выброса гнилого воздуха. Поперечины меж них не помогут. Гнилой воздух начнёт перекатываться с одной штольни в другую. И все, кто опустится в шахту, задохнутся, — говорю ему дальше, — а ещё надо знать, в каком количестве в свинцовой руде серебра. Може лучше в камень не врубаться, а с поверхности снимать слой за слоем. Люди не удуются и расходов меньше».

Екимка, предложил он мне работу в Уральских горах. Я с него потребовал жалование десять рублей в год, двести пудов хлеба и пять вёдер вина. Он меня обругал. Согласился на шести рублях, ста пудах хлеба и пяти вёдрах вина».

Я рад был за земляка. Спросил: «А что он в Летнем саду делает?»

Сёмка подбоченился, грудь выпятил, лицо приняло серьёзное выражение.

«Его сиятельство, — ответил он мне с гордостью, — хотел представить меня самому государю».

«Сёмка, — спросил я его, — а ты-то откуда всё это знаешь? Кузнец — это одно, а инженерия, тем более горная...»

«Екимка, полюбил я тебя. Хороший ты человек. Выбьюсь в люди, тебя возьму к себе. Мать-то моя из Кузнецких шорцев. А её отец и дед, и все предки, занимались кузнецким делом. Искали в Салаирских горах руду, добывали. Одни из братьев рубили руду, другие плавил, изделия делали. У нас был один казан с ушками, где вмещалась лось целиком. Они мастерство своё имели и по меди, и по серебру, и по золоту. Продавали свои изделия и киргизам, и кайсанам, и ойротам. Даже из Китая купцы приезжали за изделиями. Они меня и научили кузнецкому делу и поисковым работам. — Он подмигнул мне — Я де Геннину об этом не рассказывал. Пусть думает, что я рождён от пленного шведа. Только я, Екимка, не встречал в Кузнецком ведомстве шведа. Вот когда я набью суму серебром и закончится у нас с тобой срок, повезу я тебя, Екимушка, в сеок мамаше. И если она будет в духе, наденет свои украшения, ты потеряешь разум. Таких украшений на боярынях и княгинях нет».

За Семёном прибежал дежурный капитан и уволок его к государю. На прощание Безменов крикнул:

«До встречи, Еким! Я исполняю волю отца, обогащаюсь!»

— Алексеич, я за свою солдатскую

службе чего только не повидал. Русского человека не по внешнему виду, не по одежке, не по разговору мог распознать, а по крови. По её цвету и запаху.

Со временем начал замечать в себе неизъяснимое перерождение. Сердце болело не только за своего русского солдата, но и за шведа. Будто кто-то всадил в мою грудь, не знаю в душу или в сердце, росток будущего цветка, потом от него появились цветки с красивым разноцветным бутонем. И вот от него мою грудь расширяло видеть вокруг себя всё в цветах. И своего солдата с Петром царём и шведа с королём Людовиком, в цветах. И стал думать: какой же мне умысел, какая выгода всё красивое убивать?

— По документам ты, Еким Панфилович, сражался под Оношней и Полтавой. В Ригу заходил, находился в Прутском походе, в бою проявлял мужество...

— Алексеич, не говори о мужестве. Я и сейчас не знаю, что это такое. Я знал повиновение, подчинение, выдержку, дисциплину, и конечно, не мыслил солдатскую жизнь без нравственных начал, впитанных отцом, матерью, без уверенности в себе.

После Прутского похода я не вернулся, а меня привезли в Санкт-Петербург в лечебницу. Провалился три месяца. Вернулся в полк, а мне приказывают влиться в караульную команду по охране Летнего сада. Господи, что за жизнь солдатская? То она на волоске от смерти, то земной рай. Но вместо охраны райского уголка, меня каждый день бросали то в одно место, то в другое, а радости моей не было конца. Укладываясь спать, я вставал на колени и прославлял Господа. Утром, бодрый, быстро приводил себя в порядок, и с радостью ждал мирного приказа. Я обслуживал работу водовоздных машин для агрегатов фонтанов, строил канал из речки Лиговки в бассейн, укладывал трубы и обслуживал подачу воды в государев дворец.

Алексеич, чем я только не занимался! Даже срамные ямы чистил. И всё мне было в радость. Понимаешь? Я не убивал! Понимал: за какую-то оплошность меня могут побить, но жизнь потерять от шведской пули в Летнем саду невозможно.

По вечерам к нам в казарму приходил священник и учил нас читать аз и буки. А когда он не появлялся, учили нас писать старшие по службе, дежурные по дворцу капитаны.

Так прошёл год, второй. Готовился отметить десятилетие моё в армии. Нам велели привести себя в порядок, построиться. Государь решил поблагодарить нас, солдат, за службу. Стоим. Подбородки подняли. Оркестр гремит. Государь при-

ближается к нам, мы по знаку дежурного капитана гаркнули «Ура!» Государь обвёл всех солдат взглядом и спокойно произнёс: «Благодарю вас за службу». И опять последовало «Ура!» Он бросил острый взгляд на меня. Быстрым шагом подошёл, резко спросил: «Кто ты?» Я, волнуясь, ответил: «Солдат Преображенского полка Еким Аксёнов!» «Откуда?» «Из Сибири!» Мы с тобой, солдат, встречались?» «Возможно, я служу уже два года в Летнем саду». «Пусть будет так! — Он опять внимательно осмотрел меня. — Грамоте учён?» «Читать могу. Писать, понятно, ещё не научился».

«Алёшка, — обратился он к секретарю Макарову, — запиши: Екима Аксёнова перевести в токарню дельщиком. Поставь учителя. Через три, нет, четыре месяца, я экзаменую. Али плохо научишься писать — высеку учителей. Екима одеть, как подобает. Пусть будет постоянно при токарне, а понадобится, и при мне». Он отошёл от меня и крикнул: «Братцы, желаю здравствовать!» Он пошёл к домику. Резко остановился: — Велю к ужину подать каждому по чарке вина».

— Еким Панфилович, неужели за четыре месяца научился писать?

— А ты сомлеваешься? Алексей Васильевич Макаров прикрепил двух учителей. Один устанет, другой за меня берётся. А мне интересно: ни службы, ни работы. Каждый из учителей старается своё умение показывать, старается, чтобы не быть битым. И Макаров, как наступает воскресенье, экзамен устраивал.

Прошло четыре месяца. В это время Государь в разездах бывали. Мы времени не теряли. Появился он во дворце и всех нас в кабинет. Велел он мне написать то, что сам говорить будет. Я струсил. Но подумал: а что случится, если я плохо напишу? Он, в отношении меня за плохую подготовку не обещал бить! Государь говорит, я пишу. Закончил он. Я подаю ему лист. Он прочитал раз, другой, большие глаза выставил на меня: «Сколько лет служишь?» «Больше десяти»

«Андрюха, — обратился он к Нортову, — проследи, чтобы Екимка всё свободное время не к солдатам на игрища бегал и не к вдовам для забавы, а всё, что есть в нашей библиотеке, читал, чертил, ума набирался. А ты, — он повернулся к Макарову, — дай учителям по полтине. Хорошо поработали!» Видел, учителя до экзамена готовы были своих по рублю отдать, а тут расцвели, кланяются, губами шлёпают.

— Ты, Еким Панфилович, служил у Петра Великого денщиком?

— Я как и раньше числился солдатом

Преображенского полка. А в Летнем саду меня называли все дядькой.

– Расскажи о государе...

– Э, нет, Алексеич! Я прибыл к тебе не для того, чтобы рассказывать о великих, а чтобы ты записал мою жизнь, жизнь простого солдата Петровских времён. О друзьях, о родственниках, это я могу. В ваше время есть много писак, которые чих-востят прошлых августейших и далее... Сами-то для Отечества и щепку не подняли, а судить мастера. Я могу сказать: за годы службы у Петра Великого многое я приобрёл. Чему он меня научил?

Научился вставать без четверти четыре утра. А он просыпался в четыре. Научился перед сном пить рюмку. Он больше. А я больше рюмки позволял себе только по праздникам.

Был случай. Земляки навещали меня, я набрался. Проснулся, кое-как навёл порядок в токарне, а вот и он. Я сел на козлы, зашептал: «Батюшка, прости! Земляки навещали меня. Не заметил, как в разговоре лишнюю чарку осушил, а може и две...» Он посмотрел на меня: «Иди, дядька, похмелись».

Научился быть экономным. Научился любить правду. Научился быть жестоким и милосердным.

Научился своё жилище украшать. Научился своими руками себя радовать.

<...>

В лазарет привезли раненых, среди них моего друга Ивана Колычева. Господи, он весь был обмотан тряпками. В узкие щели смотрели глаза и чуть-чуть шевелились губы. Этими полосками он прошептал, что Господь Бог в присутствии Апостола Иоанна Богослова разговаривал с ним, и протрубил, что Иоанн Алексеев сын Колычев – православный воин, верный муж Анастасии проживёт долгую и счастливую жизнь. Я его спросил:

«А кто такая Анастасия?»

Он разомкнул губы, ответил:

«Еким, если Господь Бог знает, кто она такая, то придёт время и меня с ней познакомит».

<...>

За мной прибежали из лазарета. Сообщили про ужасное происшествие. Мой друг Иван, два месяца валяющийся без движения, ночью перебросил через матицу бечёвку, надел её на голову и одной, не перебитой рукой, перехватывая зубами, начал тянуть бечёвку, чтобы удавиться. Сосед по комнате услышал шум.

Я сидел на лавке, держал руку Ивана и шептал:

«Если бы мы, русские, потеряв часть своего тела, за brave дело, за Отечество, отказывались от жизни, потеряли суть российского духа вечности, ныне не

существовало бы России. И не было бы и Сибири. Да, ты слишком помят, руки и ноги не подчиняются твоей воле, но ты ведь Иван! А государь назвал тебя Вианором. Это как он пояснил: сильный воин. Ты и должен оставаться воином. Даст мне Бог отслужить службу. Ты скоро уедешь домой, а я потом. Мы там встретимся. И я, Ванюшка, буду у тебя восприемником\* твоих детей».

Ванюшка чуть приподнял голову. Впился в меня глазами:

«Какие дети, Екимка? Я похлебку ко рту не могу поднести...»

«Не сомневайся, Ванюшенька. Ты же совсем недавно говорил, что сам Господь в присутствии Апостола Иоанна протрубил тебе про жену Анастасию... У тебя руки и ноги поранены, не гнутся, но голова работает. Тебе и этого дара достаточно для полноценной жизни».

Ванюшка, всхлипывая, отвернул голову к стене и прошептал:

«Еким, прости. Посуди сам: кому я такой нужен? Мне говорил фельдшер, отписали отцу, чтобы он меня взял из лазарета. Я уже здесь валяюсь три месяца, а отца нет».

Я напомнил ему:

«Ты что, забыл сколько месяцев мы прошагали от Томска... Возможно, ещё тяжёлая весть не дошла до твоих. Приедет, обязательно приедет».

За раненым и искалеченным Иваном приехал из Сибири его отец Алексей Петрович. Я готов был спытывать его всю ночь, как живут дочь его Анна с Лаврушкой? Не обижает ли он её? А он лил слезы. Потом, когда Иван прекратил стонать, заснул на время, Колычев старший поведал мне, что мой отец Панфил умер. Ходил в поход на Телеутские земли, простыл. Похоронен в деревне Кривощёковой. Никиту вторично отправили на новые земли, в Бийскую крепость. Как не отказывалась моя мамка Екатерина ехать с ним в неизвестную даль, Никита взял её с собой. Рассказал о том, что ещё в семнадцатом году Томский воевода указал Красиловым переселиться во вновь заведенную Бердскую крепость.

Меня распирало любопытство спросить у Алексея, как поживают Лаврушка с Анной, как выглядят его внуки. А его повлекло в неясные и ненужные для меня рассуждения, как силой с большим принуждением, служилых отправляют на неведомые земли ставить деревни-однодворки, заниматься для них несвойственным делом – хлебопашеством. Ушёл в рассуждения о стрельцах, кои были высланы из Москвы в Томск после стрельцкого бунта и что Томский воевода их



переводит в казаки, солдаты, дьяки, во крестьянство. Я готов был обругать его: старый черт, к чему ты мне всё это талдычишь? Лучше расскажи про дочь Анну, про внучек? Не обижает ли Лаврушка Анну? Как выглядят внучки?

Перед моими глазами появилось скажочное видение. Я захожу в терем, а там стоят три дочери Лавра...

Перебивает моё видение Алексей. Бьёт по плечу. Кричит:

«Ты что не слышишь? Никак не реагируешь... Дочь моя Анна родила четвёртую внучку. Такая пригожая... Евфимией окрестили».

Я подумал: вернусь, из четырёх одну выберу. Вот дождётся ли кто меня? Доживи ли до того дня?»

Знаешь, Алексеич, второе видение появилось. Вхожу я в дом, а все четыре дочери Анны делают мне поясной поклон, на разные голоса перебивают друг друга:

«Возьми меня. Я согласна быть твоей женой... Я согласна... Я согласна... Я согласна...»

Все такие пригожие. Лучше дворцовых девок и боярских дам. Я отдельно, каждую осматриваю и от радости млею, улыбаюсь. Большую плетённую корзину раскрываю и каждую возможно мою будущую жену одариваю подарком. Рассматриваю девиц, пытаюсь выбрать лучшую для моего сердца, желанную...

Колычев вновь бьёт меня по плечу:

«Еким, да ты не болен ли? Я тебе про братьев Анны повествую, а ты о каких-то сарафанах, блузках да косынях... Неуж тебе позволили повенчаться? А как же одна из моих внучек? Про договор твой с Анной мы все знаем. Лаврушка не супротив. А мы, старики, взяли слово с дочери и зятя до твоего возвращения ни одну из внучек в жены не благословлять. Не сумлевайся, внучки мои вырастут красавицами и мастерицами».

Я в душе посмеялся: старшей десять лет.

Иван проснулся, тихо с дрожащим голосом попросил отнести его в нужник. Потом когда мы принесли его назад и положили на лавку, он стал упрашивать отца, чтобы тот отказался от него и оставил в лазарете.

Он говорил:

«Что я тебя, отец, мучить буду. Ты у меня весь болен, меня таскать не сможешь... Дорога, сам проверил, длинная, тяжёлая. Останусь здесь. Умру, похоронят. Ты знаешь, тятяка, как я завидую моим друзьям, кто в бою умер. Умерли и никому никакой неприятности».

Алексей отвечал сыну:

«Какая такая забота, какая неприятность? Ты думай о другом: я болен, мать на грудь всё жалуется. Не сможем мы, хворые, водички из речки принести. А кто принесёт? Дочка Анка?! Так она далеко. Царь Лаврушку за двести пятьдесят вёрст от Бердска выслал. Новый острог строить, новую россейскую землицу защищать. А мы с тобой как в Сибири окажемся... Воздухом подышишь, с красотой соприкоснёшься, сибирского ржаного хлебушка отведаешь и уйдут от тебя все болячки и встанешь, и пойдешь... А Настя Фёдора дочь Чюкриева каждый раз спрашивает о твоём здоровьице, и когда я поехал поздравления посылала, заблаговременно здоровья большого желала. Нет, сыночек, даже и не думай, что у нас в Сибири инвалидом будешь. Ещё и сестру Анку перегонишь по детишкам...»

На версту растянулись телеги с кузовками раненых, заполненные вещами и провиантом.

Алексеич, я провожал Колычева и других увечных и ревел, хотя мне дважды приказывал Государь:

«Дядька Еким, не требуши душу и так сердце комом сжалось».

Что мне слова Государя?!

И вдруг защемило сердце. Вспомнил, как мы, ещё будучи годовальщиками, с Колычевым Ванькой и Лаврушкой прорубали пешнями прорубь на реке Оби, украшали хвойными ветками проём, выстилали дорожку сеном и соломой. И наложив на себя крест, бросались в прорубь, дурачились, приглашая и других последовать за нами. Выскакивали и в низиках\* бежали в ближайшую Быковскую баню. Господи, надели меня счастьем вернуться домой, окупиться в ледяной воде и смыть черноту военной службы.

– Еким Панфилович, расскажи, как погиб Николай Бутырев? В архиве я много чего нашёл. Одна бумага вещает кратко: «за проявленное мужество в битве при мысе Гангут награждён медалью». И ещё встречал бумагу, где говорится о каком-то указе. Но бумага настолько пожелтела, истлела, что я не мог её прочитать.

Алексеич, во время битвы при мысе Гангут, когда под натиском нашего огня командующий шведским эскадром вынужден был опустить флаг, в это же время мой друг Николай Бутырев заметил, как гренадёры противника опустили шлюпку и в неё сошёл шведский командующий, чтобы бежать. Николай прыгнул в шлюпку и завязал борьбу, не давая матросам сесть за вёсла. К нему на помощь бросились матросы с капитаном Бакеевым. Гренадёров вязали. Не дали уйти и вражескому

адмиралу. Но Николай был даже порезан и поштыкован.

Фрегат причалил к берегу. Государь Пётр, в чине шаутбенахта под именем Петра Михайловича, на пеньковом половике вынес моего друга на пристань и передал береговым лекарям.

В тот же день мне передали, что мой друг при смерти. Я поспешил в лазарет.

Над раненным моим другом, согнув спину, стоял Государь. Он кричал:

«Это что за просьба твоя такая, что я, Государь, не могу исполнить?»

Николай говорил с трудом:

«Лазаретный писарь написал мою просьбу. Ты, Государь, можешь её прочитать, только не в слух, чтобы остальные не знали, а то дураки начнут смеяться».

Пётр взял лист. Выпрямился, прочитал, нахмурился. Тихо проговорил:

«Много я заветных наказов прочитал. Там всё есть: и имения, и деньги, и скот, и крепостные, – такое впервые читаю. Ведь завещание о нашей России, об армии. Ну, ты, Миколай, не только герой, дальновидец! О России думаешь! Пётр крикнул: «Перо, чернильницу!»

Капитан Бакеев подал царю перо и поставил свою спину. Пётр написал: «Своим именем заповедную просьбу мужественного Миколы Бутырева заверяю, чтоб так сие и было. Пётр».

Лекарь сложил Николины руки, а лазаретный священник поставил в ладони свечку. И тихо проговорил царю:

«Мужественный Миколай почил».

Государь повернулся в мою сторону.

«Дядька, собирайся в путь. Отпускаю тебя на месяц. Отвезёшь дары солдатке, выполнишь волю друга. Поезжай в карете, запряженной тройкой. Капитан, – он ткнул кулаком в грудь Бакеева, – впереди Екима пусти горниста с барабанщиком. Пусть оповещают всех, что едет солдат Еким на родину погибшего мужественного друга Миколая, к вдове солдатке Марье с царскими подарками и с благодарностью».

С закатом солнца прибыл в деревню Шушенгу Вологодского наместничества. Еду по деревне и озноб по всему телу. Встречаются обыватели оборванные, грязные, то хромые, то горбатые, то одноглазые с черными повязками на лицах. Встречал и кособоких. Кланяются, склоняются на колени, а иные с колен не поднимаются, падают на бок. А улица: вся в грязи, навозе, кучах дрязга, обломки от дуг, оглоблей, подоходя живность. От ворот слышу скрип. Прикалитки стучат. Окна забиты бычьими пузырями, грязью облеплены. Думаю: как же Николай, сам такой чистюля, аккуратист мог хвалить свою деревню? Часто говаривал, что Шушенга са-

мая красивая деревня в наместничестве. Десятник деревни проводил меня до усадьбы Бутырева. Хозяйка с многими поклонами поприветствовала нас. Оглядел вдову. Тут был прав Николай: баба и смазливая и при теле. Разгрузили плетёнки с подарками. Поблагодарил солдат сопровождающих меня. Вошёл в дом. В поварне, в горнице шаром покати: стол и лавки. В переднем углу увидел реденькую божницу: Спас, Богоматерь, Панфила и Николу чудотворца.

Вот тогда я, Алексеич, дал себе слово: вернусь в Сибирь, обзаведусь семьей и сотворю дом не хуже их сиятельств и обязательно выращу сад. А сад перед избушкой Бутырева был ухожен и яблони радовали своими плодами.

Алексеич, справедливость требует сойтись, что я в первую ночь много времени провел в стараниях овладеть Марией. Она царапала меня, била ногами и руками. Под утро вырвалась из моих рук и выбежала во двор. Спустя малое время, в хату ввалились несколько мужиков, приказали одеться и следовать за ними. Дура Марья, собрала десятника, полусотника, сотника, а кроме них был ещё неказистый старичок, каких я давно не видел, маленький, щупленький сморчок с реденькой татарской бородкой.

Привели меня к сборной избе. Народу, как на Рождество Христово в храме. Старичок писклявым, гортанным голосом предлагает: «Марья, говори, что солдат хотел у тебя отнять?»

Марья подбоченилась, грудь вперёд высунула; она там под сарафаном барыню пошла плясать. И говорит, а голос медовый, так и поплыл голубыми медунками вокруг сборной избы: «Солдат Еким стремился воровством принудить меня к прелюбодеянию. И нательницу\* мою порвал и лягвю\* почарапал. Требуя наказать насильчивого солдата и выгнать из деревни, дабы другим не повадно было к телу солдатских вдов клешни прикладывать. И не нужны мне никакие царские подаяния», – склонила голову, исподлобья посмотрела на старичка-сморчка, продолжила. – Дедушка Сергей, солдат мне в морду бумагу совал, кричал на меня будто ему самим царём приказано спать со мной, прочитай. Если солдат не врёт, я подчинюсь тому, что изволит мир. Но без моего желанья пусть ко мне не приговаривается...»

Долгим и бурным шло обсуждение завещания моего друга и именного указа царя. Я сидел, ждал. Многие смеялись, некоторые выражали своё скудоумие, до многих с первого чтения суть завещания не дошла. Они переспрашивали. Пускали похабные словечки. Не стесняясь жен-

щин, срамословились\*. Солнце поднялось. Осветило дрязглую\* деревню. Старичок поднялся. Мир затих. Он заговорил:

«Ты, солдатик, особо не рыскай. Марья у нас в деревне без Николая одиннадцать годочков прожила. И без баловства. Мы невольтить её не можем. Сам понимаешь, это как бы и грех, чужая баба. И ты пойдешь против заповеди и она. А с другой стороны заветный наказ самого Николая. И царь-батюшка за то, чтобы солдатка Марья пополнила его армию таким же смелым солдатом, как и Николка. В этом деле без её желания не прилобунивайся\*. Пришибёт она тебя скалкой или ухватом – не жалуйся. У неё это крепко получается. Лучше лишний раз спроси:

«Солдатка Марья, не позволите ли мне, Екиму, другу Миколки, моим фурси-ком коснуться до вашего лобочка...»

Мир смеялся. Смеялась и Марья. Только я один сидел, как на похоронах. Старик кашлянул, мир замер.

«Марья может родить от солдата Екима. Он вон какой бравый... Родится сын или дочь, это как Боженька решит. Наш настоятель, в церковном журнале, занесёт, что дитя не от Николая и не от Екима...»

Послышались голоса: Отец Сергей, чей же он по отцу будет?»

«Я вот что придумал, – продолжил старичок. – Наш Николай Панфила сын Бутырев. И по указу солдат Еким тоже Панфила сын. Мария родит сына, миром наречем его Панфилом. Восславим их отцов за то, что взрастили солдат верных и на поле боя и в дружбе».

«А если родит дочь?» – заголосили крестьяне.

«Вы посмотрите на этих антихристов, – заремел священник отец Тихон. – На нарушение Божественной заповеди идут, от антихриста указ собираются исполнять. Антии! Ещё и зачатие не свершилось, а уже имя дают. Ты, Сергей, как затейник этого дела, получишь церковное наказание. А ты, Мария, до взятия Николая в любовики, прожила с ним три года. Чадо не появилось. Откуда вера, что от невенчанного солдата, совершая воровство, прилободееяние, родишь?»

Марья тряхнулась:

«Волю суженого, указ батюшки царя и если мир приговор примет: от солдата Екима родить солдата – рожу».

Батюшка плюнул.

«В приговоре запишем, – продолжил старичок, – кого бы ни родила солдатка, вдова Марья Бутырева – это будет не су-раз\*. И если кто позволит словами обидеть солдатку, а тем более её сына или дочь, заранее ищите место в другой деревне. Ты, солдат, прости нас, что встре-

тили тебя в грязной деревне. Дошёл до нас слух, что к нам едет солдат, посланник царя Петра. Подумали: зачем мы царю нужны? Последних мужиков в Вологодский полк сбриты, или из наших амбаров пополнить солдатский провиант, высрести, что осталось, чем ещё богаты? Вот и стала наша деревня за ночь завалена хламом, а мужики и молодежь все хромые, горбатые, да кособокие».

Пришли домой. Марья истопила мыльню. После накрыла столище на Преображенский полк. Пожаловали с приношениями Сергей, лучшие люди деревни. Указные гости, не свадебники и не сговорщики, а богохульники по завету и указу пили, хвалили Марию, по доброму вспоминали земляка, друга моего Миколу, дру-гих, кто в боях за окно в Европу погиб.

Старосветский Сергей поднялся, поблагодарил Марию за угощение, осмотрел меня и с улыбкой, сердечно душевно заговорил:

«И Николай, твой друг, заповедовал противное православному житию и царь закрепил своей рукой противозаконие. Мы же подданные супротив их воли не пошли. И приговор правильно приняли. Что тут вспоминали земляков, кто погиб за окно в Европу, правильно все это. Я вот думаю: вырастет сын вдовы, солдатки Марьи да солдата Екима и по ненадобности отвернется от окна в Европу. Она, Европа, не осторожно, а нагло в дверь нашу лбами начнет стучаться. Дадим волю, наречённому нами Панфилу, коей родиться в будущем, впускать к нам в Россею бритоголовых аль нет?»

«Дедушка Сергей, заговорила Марья, – я так думаю: кто решит выдобрится\* приговор, сын мой впустит, а кто злой умысел задумает, того на хрен пошлет и мать неприятеля вспомнит».

Вот баба! То не подпускала, всю грудь мою исцарапала, а как мир приговор принял, сама постельку постелила, сама пригласила. И каждый вечер, приглашая опочивать, приговаривала:

«На небе Бог, на земле мир, как же я против него пойду».

Я ей:

«Дура, ты, баба. Я тебе именно указ самого царя привёз, чтобы выполнить последнюю волю умирающего. Царский указ тебе не закон?»

Она мне: «Не знаю царя, а мир рядом, вокруг нас и я живу в нём.»

– Господи, Алексеич, знал бы ты, как я измаялся, пока с удовольствием выполнял волю друга. Днём все хорошо. И дом в порядок привел, и скотские помещения,

и весь двор огородил, а ложимся спать... Марья ко мне липнет. Говорит:

«А чё ты зенки заворонил везнушка-ми? А чё я твои шаршавые ручищи на со-сцах своих не чувствую?»

А мне надо показать, что я не по свое-му желанию наслаждаюсь, а по воле дру-га, по указу Государя. А только засну, друг мой Никола на меня нападает и ругает меня, и проклиняет. А я перед ним оправ-дываюсь и на память говорю ему:

«С твоих же слов лекарь написал: «Я, Николай Панфила сын Бутырев, умирая за-поведаю, чтобы мой фронтовой друг Еким Панфила сын Аксёнов, получив побывку, съездил в мою деревню Шушенгу Воло-годского землячества, погостевал б у моей венчанной жены солдатки Марьи, которая от меня не имела детей. Надеюсь, Господь Бог даст ей ребёночка, о котором она про-сила все три года, пока мы жили до того, как мне не побрили лоб. — Отдыхаю. Воздухом наполняя грудь. И полуснепотом продол-жаю. — Пусть он, Еким, спит с моей женой, как венчаный. А когда родится дитя, пусть будет Бутыревым. И с пяти лет отправить его в полковую школу, чтобы продолжил он солдатскую службу отца. — Я опять вздох-нул глубоко, продолжаю. — Своим именем заповедываю, чтоб так сие и было. Пётр».

Приехали за мной. Велели немедлен-но собираться. Государь требует дядьку ко двору.

Долго голосила Марья. Прикалитку на запирку закрывала, мундир прятала, кри-чала на всю деревню: Не пущу, Екимушка, пока не почувствую в утробе ребёночка!»

С весенним разливом Невы семьсот пятнадцатого года из Вологодского на-местничества, деревни Шушенги пришло сообщение. Солдатка Марья Бутырева родила сына, нарекли его именем муче-ника Панфила. Мы с государем в это вре-мя находились в Преображенской слобо-де. Я сообщил ему радостную весть. Он пристально посмотрел мне в глаза, потом ударил себя по бёдрам и заорал: «Неси вина и ветчины. Надо за будущего солда-та Панфила выпить».

Когда пришел граф Головкин, мы уже спорили с Государем: на столько дней мне можно отлучиться, навещаю солдатку Ма-рью и моего сына. А Пётр-царь кричал:

«Не твой это сын. — Наш!»

— Алексеич, только через год после рождения Панфила я упросил Государя отпустить меня к вдове Марии. Приехал в деревню Шушенгу и не узнал: чистая, улицы прибранные, палисадники огороже-ны. На обочинах обыватели празднично

одеты, поклены совершают чинно, с луче-зарной улыбкой. В честь моего появления старичок Сергей велел в ямщицком стане устроить «ассамблею».

Я выполнил волю Государя, вручил Марии медаль «За морские сражения при Гангуте».

В доме Марии я радовался: сын, по-хожий на меня, ходил, лопотал и меня принял, как тятку. Мария приставала и просила, чтобы я упросил царя дать мне разрешение обвенчаться с ней. У меня вырвалось: «Не могу. Я договором повен-чан с сибирской девицей»

«Кто она? Поди состарилась! Тебе уже сорок шесть».

«Нет, — бодро отвечал, — они ещё мо-лодые. Старшей чуть больше десяти, второй на два года меньше, третьей ещё меньше, а чет...»

Она прервала меня: «Еким, ты, как му-жик православный, а что мелешь? Имена-то их хоть запомнил?»

«Знаю. При вечернем молитвословии каждой по имени здравия желаю... из-за них не могу согласиться на венчание с то-бой».

Алексеич, ты не представляешь, с каким тяжким душевным грузом покидал я дерев-ню. Вспоминаю супружницу Николая Марию и слёзы лью. Вспоминаю сына Панфила: и слёзы и радость. У меня сын появился на свете! Что бы ни случилось в моей жизни, а Панфил продолжает дело друга Николая и моё дело. Мы с ним усердно, излишне кровь проливали... Он на небесах, но по его воле есть на земле человек!

Многие в моё время жития, да и при твоём времени, начнут утверждать, что срамное дело сотворили мы с Марией. Я не согласен.

Не могу не вспомнить про батюшку Ти-хона. Он присутствовал на «ассамблее» в честь моего приезда. После старичка Сер-гия он говорил. Вот его слова:

«Если что случится с Марьей, ты, солдат Еким Панфилович, знай: Панфила сынка я возьму в свой дом. И подготовлю в армию здоровым и грамоту впитую».

---

\*Прозвание — фамилия человека.

\*Ведатель человеческих сердец — Господь.

\*Восприемник — кум

\*Низики — нжне бельё.

\*Нательница — женская нижняя рубаха.

\*Лягвею почарапал — верхняя половина ноги.

\*Срамословились — сквернословие, похабщина.

\*Зенки заворонил вездушками — веками.

\*Побрили лоб — взяли в солдаты.

\*Дрязглую — мусор.

\*Не прилобунивайся — к лобку не прикасаться.

\*Сураз — внебрачный ребёнок.

\* Выдобриться — выслужиться, угодить, задо-брить.